



Н. Герцен

СЕМЕЙНАЯ ДРАМА ГЕРЦЕНА

К концу 1848 года Гервег стал бывать у Герценов почти каждый вечер. Дома он скучал. Эмма мешала ему, и он тяготился ею. Смешные и досадные стороны ее характера выступали все яснее.

В конце ноября тяжело захворала дочь Наталии Александровны — Тата. Сперва ей долго нездоровилось, потом сделалась небольшая лихорадка и, казалось, прошла. Известный парижский врач Вейде советовал свозить ее покататься, несмотря на холодный зимний день. Когда девочку привезли домой, она была очень бледна, попросила есть и, не дожидаясь бульона, уснула возле матери на диване. Прошло несколько часов, сон продолжался. Молодой немец, студент-медик, зашедший повидать Герцена, обратил на это внимание. Ребенок лежал иссиня-бледный, похолодевший. Герцен сляг голову бросился отыскивать Вейде и, по счастью, застал его дома. Врач приехал, поднял спящую девочку, сильно потряс и заставил отца громко позвать ее по имени. Тата раскрыла глаза, сказала слова два и вновь заснула тем же сном, тяжелым, мертвым. В этом состоянии она оставалась несколько дней, без пищи и почти без питья, губы почернели, почти сделались синие, на теле показались пятна. Доктор давал понять, что остается мало надежды...

В эти кошмарные дни Гервег окончательно стал своим человеком в доме Герценов. А когда гроза пронеслась мимо, когда Наталия Александровна отдохнула от пережитого ужаса, когда все существо ее инстинктивно потянулось к счастью, к солнцу, к жизни, она нашла немецкого поэта возле себя, и между ними не было уже ни одной из тех прегрлад, которые условности света воздвигают между малознакомыми людьми. Он был свой, он был друг Александра. Среди запаха аптечных склянок, в занавешенной комнате, куда с трудом проникали звуки внешнего мира, у постели выздоравливающей девочки родилась новая любовь Наталии Александровны. Она еще не знала, как называется это чувство, она не отдавала себе отчета, к кому это чувство в действительности относится. Но она уже любила.

Георг Гервег втирался все дальше, все глубже в дом и в семью Герценов. Был ли у него при этом определенный план, трудно сказать. Вернее, что не было. Но он был прививальщик по натуре, по инстинкту. Он инстинктивно старался упрочить свое влияние, утвердиться покрепче в этом доме, где все было так приятно и мило ему, он искал наименее защищенное, наиболее слабое место и, наконец, нашел его в душевном состоянии Наталии Александровны.

Отношения Гервега к супругам Герценам все больше начали приобретать характер страстной дружбы втроем. Наталия Александровна, естественно, являлась третьим участником дружеского союза. Привычки, вынесенные из московского кружка и еще далеко не забытые, должны были оказать свое действие. Неохота и неумение защищать свой душевный мир от слишком глубоких вторжений со стороны облегчили развитие этой дружбы, в

Нас учили, что семейная драма Герцена связана с его разочарованием во французской буржуазной революции 1848 года. Известный когда-то литературовед и писатель Петр Константинович Губер, потибиш в сталинских лагерях (1886—1941), автор книги «Дон-Жуанский список Пушкина» и других интересных работ, считает: в семейном разладе Герценов был виноват... сам Александр Иванович, не сумевший (или не захотевший) отградить им свою душу, им душу своей жены от вторжения извне.

Петр ГУБЕР



А. Герцен

КРУЖЕНИЕ СЕРДЦА.



Г. Гервег

которую Гервег вносил по временам чисто истерические ноты.

Любил ли Гервег камечную им жертву? По всем вероятностям — да, особенно в начале романа. Но, конечно, любил по-своему. Ему довольно легко удалось смутить ее душевный покой. Но этого ему было мало. Его целью, его почти нескрываемым идеалом был, по-видимому, брак втроем, а то так и вчетвером, чтобы не обижать понапрасну безвинно старую, верную Эмму. Но, со своей хитрой чуткостью, он догадывался, что в этом вопросе натолкнется на суровый отпор, и потому медлил, ничего не говорил прямо, изъяснялся в любви к Герцену и, видя, что дело вперед подвигается туго, хандрил и впадал в меланхолию...

И вот Герцен начал мало-помалу прозревать: в истерически страстных излияниях Гервега он стал угадывать чувство, испугавшее его...

Но что оставалось делать Гервегу после того, как он осознал в своей душе эту любовь? Уйти? Исчезнуть? «Не желай дома ближнего твоего, — не желай жены ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осли...» Но, конечно, дескать заповедь слишком примитивна, чтобы ею мог всецело руководствоваться и считать ее общеобязательной просвещенный русский европеец сороковых годов. Ведь жена не просто собственность, о которой упоминается наряду с волом и ослом. Жена — друг и товарищ, имеющий право свободного выбора. И любовь — высокое чувство, которое далеко не всегда и не во всех случаях надлежит обуздывать. У любви, хотя бы и не освятенной людским законом, есть свои непрекрасимые привилегии. Герцен не решается прямо сказать, что Гервег, полюбивший Наталию Александровну, был нравственно обязан уехать. Поэтому он упрекает поэта лишь в недостатке откровенности.

Настоящий друг должен был действовать начистоту. Ему следовало во всем исповедаться ему, учинить трогательное сердечное излияние в московском стиле. Это, конечно, насколько не поправило бы дела, пожалуй, еще хуже запутало бы его. Но зато священный ритуал дружбы не был бы нарушен. Гервег отблуждал от ритуала, и за это Герцен обвинял его изменником, негодяем и типичным представителем западного растления.

13 июля 1849 г. в Париже произошло

внушительная народная демонстрация, сопровождавшая попытку революционного переворота со стороны левой демократической части только что переизбранного Национального собрания. Герцен участвовал в шествии вместе с другими иностранцами, занимал даже место во главе колонны и с трудом ускользнул от кавалеристов генерала Шангарнье. Он отправился на демонстрацию против собственного убеждения, не ожидая ничего хорошего и только поддавшись на уговоры своего приятеля Н. И. Сазонова. Предвидения его оправдались. Движение было разгромлено, начались репрессии, ему самому мог угрожать арест <...> Панический страх охватил Герцена. Оставив семейство в Вилье д'Авра, он бежал в Швейцарию с паспортом какого-то румына. Опасения его были не совсем напрасны, потому что несколько дней спустя квартира его была тщательно обыскана полицией.

Гервег остался в Париже. Первые подозрения уже запали в душу Герцена, но он еще тайлся и не показывал вида. Письма его к Наталии Александровне, писанные из Женевы, спокойны, сдержанны и вообще имеют совершенно будничны характер. Почти в каждом письме он передает поклонья Георгу, поручает ему заботиться пересылкой рукописей и сообщает, что научился ценить рейнские и другие немецкие вина... И это все.

В конце июля вся семья Герценов соединилась в Швейцарии. Гервег, который в свою очередь был вынужден покинуть Париж, тоже обосновался в Цюрихе, потом в Берне, потом опять в Цюрихе. Расстояния в Швейцарии невелики. Встречи поэта с семейством Герценов продолжались. Отношения по внешности были по-прежнему самые дружеские. Более того, хотя у Герцена уже на многое открылись глаза, он еще не думал осуждать своего Георга и искренне жалел его... Он писал Гранозному: «Я в истинно дружеских отношениях только с Гервегом и больше ни с кем...»

Герцену удалось спасти из России большую часть своего состояния. Но весьма значительная сумма (105 тыс. рублей серебром), принадлежавшая Луизе Ивановне Гагг, была оставлена русским правительством, и, чтобы вырвать ее, пришлось прибегнуть к посредничеству Ротшильда. Для хлопот по этому делу Герцен был вынужден в конце декабря приехать в Париж. Французские власти этому не препятствовали, несмотря на недавний побег.

Письмо от Наталии Александровны, в котором она писала о своем сочувствии к Гервегу, дало ему желанный повод, и он обратился к ней напрямик. Он говорит, что письмо это было печально и спокойно; он посылал жену тихо, внимательно исследовать свое сердце и быть откровенной с собой и с другими. Он напоминает, что оба они слишком связаны всем прошлым и всею жизнью, чтобы чего-нибудь не договориться... Герцену, однако, показалось этого мало, и он написал ей: «Подумай, что после того, как мы привели смущающую нашу душу тайну к слову, Гервег возидет фальшивой нотой в наш аккорд или я... Я готов ехать с Сашей в Америку, потом увидим, что и как... Мне будет тяжело, но я постараюсь вынести; здесь мне будет еще тяжелее — и я не вынесу».

С несколькими наивным эгоизмом Герцен, кажется, вовсе и не заметил, что избирает довольно плохой путь, чтобы заставить

жену высказаться вполне откровенно. Заговорив об отъезде, он поставил перед ней ужасную альтернативу. Не говорим уже о том, что расстаться с мужем было бы для Наталии Александровны тяжело и мучительно. Ведь она была не просто увлекающаяся дама с пылким темпераментом. Даже чисто эротическое влечение, каким, несомненно, было ее влечение к Гервегу, с необходимостью принимало у нее формы утонченной духовности, она не стремилась к грубой отдаче себя и к не менее грубому обладанию со стороны мужчины. Она слишком хорошо помнила прежние опыты изысканного, ничем плотским не замутненного общения с людьми разного пола, которые могла видеть и пережить в Москве. Почему и здесь не могло бы повториться то же самое? Ведь им могло бы быть так хорошо втроем, и Гервег ничего иного не требовал. Полное взаимное понимание, общность идей и мыслей и притом ничего грубого, ничего нечистого. Неужели муж ее не пожимал

этого? Он — написавший от лица Любеньки Круциферской*, которую писал ни с кого иного, как с собственной жены... Саша был ее первенец, ее самое любимое дитя, предмет привязанности болезненной, страстной, всепоглощающей. Услышав подобную угрозу, она, конечно, ответила криком ужаса: «Что ты... Что ты! Я — разлучилась с тобой! Нет, нет, я хочу к тебе, я тебе сейчас... Я буду укладываться и через несколько дней я с детьми в Париже». В день выезда она еще писала: «Я счастливей, чем когда-нибудь! Люблю я тебя все так же, но твою любовь я узнала больше, и все счеты с жизнью сведены, — я не жду ничего, не желаю ничего. Недоразумения! Я благодарна им, они объяснили мне многое, и сами они пройдут и рассеются, как тучи».

Когда молодая женщина пишет, что все счеты с жизнью сведены, что она ничего не желает, это очень нехорошо и свидетельствует о весьма опасном внутреннем состоянии. И все-таки супруги как будто бы вступили в полосу нового сближения. Встреча в Париже была не радостна, но спокойна, исполнена сознания, что союз есть крепкий и разбить его не так-то легко. Наталия Александровна несколько воспрянула духом. Герцен говорил с ней много и по душе. Он присматривался к ней и имел возможность убедиться, что «вместе с сохранившейся горячей симпатией к Гервегу Наталия словно свободнее вздохнула, вышедши из круга каинского черного волшебства».

Гервег ничего не знал о переписке Герцена с Наталией Александровной. Однако он все-таки получал что-то. Собственные дела его шли из рук вон плохо. Эмма, жена его, до тошноты ему надоевала, в письмах своих устраивала ему заочные сцены, рвалась, плакала, просила Герцена о посредничестве; вместе с тем старалась угодить своему ненаглядному Георгу, давала для него деньги. Он или не отвечал на ее письма, или писал колкости и требовал еще денег.

Зато с бурной нежностью, почти так, как страстный, мнительный любовник, он писал к Герцену. «Мой милый близнец, — у меня голова идет кругом, так что не ожидайте ничего особенно путного от этого письма... Друг, единственный мой друг, какая пустота вокруг меня после вашего отъезда! Я точно под колоколом пневматического насоса: воздух понемному уходит, и скоро нечем будет дышать».

Бесспорно, в этих письмах объяснения в любви направляются преимущественно по адресу мужа, а не жены. Недаром Гервег тоже был «избранной натурой». Обыкновенная любовь к обыкновенной женщине представлялась ему чем-то слишком вульгарным. Рай утонченных, возвышенных чувств мог осуществиться только в гармонической триаде любящих. «Нелепая утопия!» — скажет современный человек и будет прав, конечно. Но Герцену тут решительно не на что было негодовать. Это был его собственный стиль, усвоенный им еще в России. И потому так трудно было ему теперь отшатнуться от Гервега.

Герцен говорит, что письма Гервега служат страшным обвинительным документом. Пусть так! Но нельзя не признаться, что в них есть кое-какой материал, служащий отчасти и к обвинению самого Герцена. Отношения, подобные тем, которые изображены в этих письмах, не допускают исключительно одностороннего развития. Здесь и с другой стороны непременно должна была быть уступка, податка, известная эмоциональная распушенность... Герцен читал Гервегу нота-

* Имеется в виду героиня повести «Кто виноват?».

ции и иногда подпускал шпильки... Но у него не хватало решимости окатить назвавшего друга настоящим ушатом холодной воды. Оттого и пришлось, немного спустя, думать о пистолете.

Гервег не имел права въезда в Париж. Стало быть, пока Герцен и Наталия Александровна оставались в столице Франции, его единственным оружием были письма. Он не мог появиться лично, и «чары черного волшебства», с которыми сворит Герцен, гораздо слабее чувствовались на расстоянии. Но вот пришлось уехать. Куда? Он выбрал в качестве постоянного местожительства город, куда давно уже собиралась переехать Эмма Гервег с детьми, куда муж ее должен был явиться непременно. Покорно и тупо, словно бык на заклание, шел Герцен навстречу своей судьбе.

Герцен снял в Ницце большой дом для себя и для своих, и Гервег с семьей тоже получил несколько комнат. Герцен платил из собственного кошелька за эту квартиру, и вообще случилось как-то так, что все общие расходы легли на его долю. Кроме того, он дал Эмме взаймы десять тысяч франков под вексель.

Паразит окончательно внедрился в чужую семью. И так как Эмма решила наконец откинуть свою неуместную ревность, примирилась со всем и готова была отныне содействовать мужу, то идеальный брак вчетвером мог начаться.

Но выяснилось, что для этого есть серьезные препятствия. Герцен решительно не хотел этого брака. Все чувствительные излияния Гервега наткнулись на какую-то ледяную стену. Тогда он напустил на себя вид безнадёжного отчаяния. Он намекал, что если близкие люди и впрямь будут с ним так жестоки, то он не задумается покончить с собой. Его жена выходила к столу с красными глазами и часто целыми часами плакала в комнате Наталии Александровны. Обе бедные женщины свято верили в серьезность намерений разочарованного поэта.

Нездоровое, нервическое возбуждение овладело Наталией Александровной. Яд постоянного общения с Гервегом вновь оказал свое действие. Развязка надвигалась. Ее лишь временно задержало рождение маленькой Ольги Герцен, появившейся на свет 20 ноября 1850 года...

Герцен теперь откровенно злился и выходил из себя. По некоторым неуловимым признакам он начал догадываться, что Гервег молчал только с ним. С Наталией Александровной он говорил и сам и через посредство Эммы. И Наталия Александровна тайлась и скрывала это от мужа. Значит, налицо уже было начало измены.

И тут впервые громко, ожесточенно, неуловимо заговорила ревность. «Радикально уничтожить ревность, — говорит Герцен, — значит уничтожить любовь к лицу, заменяя ее любовью к женщине или мужчине вообще, любовью к полу... Ни слез о потере, ни слез о ревности вытереть нельзя и не должно, но можно и должно достигнуть, чтобы они длились по человечески... и чтобы в них равно не было ни монашеского яда, ни дикости зверя, ни вопля узленного собственника».

Такой совет легче дать, нежели исполнить.

Новый год встречали на половине у Луизы Ивановны Гагг. Герцен был раздражен, взвинчен. Гервег печально смотрел исподлобья. После тоста за новый год он поднял свой бокал и сказал, что он одного желает, чтобы наступающий год был не хуже прошедшего, что он желает этого всем сердцем, но не надеется, напротив, чувствует, что все, все распадается и гибнет. Герцен промолчал.

Вскоре Наталия Александровна сама вызвала его на объяснение. Разговор был тяжел. «Мы оба не стояли на той высоте, на которой были год тому назад», — говорит Герцен. Наталия Александровна казалась смущенной. Ей было больно расстаться с Гервегом; вместе с тем подумывала, не уехать ли ей самой на год в Россию.

Тут заехала Луиза Извозова звать невестку и внуков с собою на прогулку в Ментону. Когда все, в том числе неизбежные Гервеги, вышли, чтобы садиться, оказалось, что одного места недостает. Молчаливым жестом Герцен указал на него Гервегу. Тот, вовсе не отличавшийся особенной деликатностью, на сей раз отказался. Герцен посмотрел на него, затворил дверь, колыхнул и сказал кучеру «ступайте!» Они остались вдвоем перед домом на берегу моря. Гервег, очевидно, понимая, что игра зашла слишком далеко, был бледен и избегал встречаться взглядами со своим бывшим другом. «Зачем я не столкнул его со скалы в море? — спрашивает Герцен. — Какая-то нервная невозможность остановила меня...»

Когда часу в седьмом все собралось к обеду, его (Гервега) не было. Эмма вошла с глазами, всплывшими от слез, и объявила, что муж болен. Все переглянувшись, Герцен почувствовал, что минута открытого, окончательного разрыва наступила.

Наталия Александровна стояла перед роковым порогом. Ей надлежало принять окончательное решение. Как за год перед тем, когда муж грозил уехать с сыном в Америку, ей был предоставлен ужасный выбор... Впрочем, нет, гораздо ужаснее: легко могла состояться кровавая дуэль между мужем, с которым ее связывало все прошлое, мужем, к которому она была так привязана, и тем другим, которого она любила теперь, в настоящем. Кто бы ни пал в этом поединке, это оказалось бы для ее души смертельным ударом.

Характерно, что Герцен так и не понял этого. Рассказывая о событиях, он не подозревает их скрытого смысла. Ему казалось и в ту минуту и много спустя, что жена совершенно добровольно решила остаться с ним. Но мы, читываясь внимательно в XVI главу «Былого и дум», являющегося единственным источником наших сведений о роковом разговоре этой ночи, не можем присоединиться к подобному утверждению. Мы не знаем наверняка, как поступила бы Наталия Александровна, если бы перспектива дуэли не отнимала у нее последних остатков мужества и нравственных сил. Быть может, она все-таки осталась бы с мужем, быть может, ушла бы с Гервегом. Но теперь решение ее было предопределено.

Гервег был человеком безмерно слабым, от чего и происходили все его прегрешения. Его простодушный эгоизм не ведал ни границ, ни узды. Ради собственного интереса, ради житейских удобств, наконец, во имя узавленного самолюбия он оказался бы способен на самое черное злодейство, которое совершили бы как-то сам собою, словно помимо воли и желания. Культ собственной личности, которому он предавался, был так велик и всеобъемлющ, что делал его почти безответственным, словно маниака.

Гнев, охвативший Герцена после откровенных признаний Наталии Александровны, исходил из другого источника. То было слепое, иррациональное бешенство, в скрытой первооснове которого кипел оскорбленный мужской инстинкт. Эта ярость искала объекта. Но обвинить кену он не мог — он всегда слишком высоко ставил ее. Обвинять самого себя также было не в его привычках, и он нашел ближайшего и непосредственного виновника всего совершившегося. Свою чисто личную, инстинктивную и потому не нуждавшуюся, в сущности, ни в каком обосновании ненависть к сопернику он, в качестве рефлексивного интеллигента сороковых годов, философски обосновал и дополнил с точки зрения своей общей исторической теории о моральном разложении и гниении Европы. Его собственная семейная история, по-видимому, так блистательно потверждала его теоретические взгляды.

Игнорание из Ниццы разрушило все планы Гервега. Денежные дела его были из рук вон плохи; ресурсов не предвиделось, рабывать он не мог и не хотел.

Под давлением таких обстоятельств в уме Гервега зародился новый план: если Герцен слишком груб и черств душою, чтобы участвовать в идеальном союзе, то можно обойтись и без него... Не подлежало ни малейшему сомнению, что Герцен, даже в случае разрыва, не оставит жену, а стало быть, и ее друга, безщедной денежной поддержкой. Поэтому, едва успев устроиться в Женеве, Гервег немедленно начал махинации с целью изменить решение Наталии Александровны. Хоанить в секрете все совершившееся насколько не были расположены ни он, ни Эмма. Очень скоро сплетня поползла из одних ушей в другие.

Гервег прислал Герцену письмо, которое тот отослал, не читая. Тогда он принялся настойчиво писать Наталии Александровне. Это был настоящий шантаж, рассчитанный на болезненные нервы женщины. Он угрожал не только самоубийством, но и страшными преступлениями. Он грозил ей перерезать собственных детей, выбросить их за окно и в их крови явиться к Герцену. В другом письме он уверял Наталию Александровну, что пойдет зарезаться в присутствии ее мужа и скажет: «Вот до чего ты довел человека, который тебя так любил!» Вместе с этим он умолял Наталию Александровну поминуть его с Герцеком, взять всю вину на себя и предложить его в гвернеры к Саше.

Некоторое время Наталия Александровна верила всем этим зловещим басням. Они так соответствовали романтическому уклону ее воображения. Впоследствии, когда угрозы продолжались, не приводя ни к какому действительному результату, она понемному стала сомневаться. Наконец мужу удалось убедить ее написать, что она согласна, что она убедилась, будто на самом деле нет много выхода, кроме смерти. Жестоким тревом стоило, вероятно, Наталии Александровне это письмо. Но, как следовало ожидать, Гервег раздумал стреляться. Он ответил, что благоговение на самоубийство пришло слишком поздно, что он теперь в другом расположении и не чувствует в себе достаточно сил, чтобы решиться на подобный

шаг, но что, оставленный всеми, он уезжает в Египет.

Герцен говорит, что напрасная похвальба самоубийством нанесла Гервегу страшный удар в глазах Наталии Александровны. Но, как кажется, он в этом отчасти заблуждался. Ибо настоящая любовь изъята от законов логики. Ирония, разочарование ее не убивают, убивают только время и привычка: привычка к разлуке с любимым человеком или иногда, напротив, привычка к его ежечасному присутствию.

Молодая женщина любила Гервега вопреки рассудку, вопреки эстетике, вопреки своему собственному твердому решению. Без ведома мужа она позволила себе в эти месяцы писать к Гервегу. О чем именно она писала, мы не знаем. Вероятно, она хотела успокоить и утешить его. Но он разгласил ее письма и снабдил их собственными распространительными комментариями...

Бешенством, отчаянием и недоверием продиктовано письмо, отправленное им тогда... «Неужели это о тебе говорят? О, боже, боже, как много мне страданий за мою любовь... Что же еще... Ответ, ответ в Турин!»

Этот случайный взрыв послужил началом кризиса, который при иных, более благоприятных условиях мог бы привести к полному нравственному выздоровлению. Супруги объяснились еще раз и окончательно примирились. В Ницце все слишком живо напоминало им о недавнем несчастье. Поэтому они успелись встретиться в Турине, и там, совсем одни, вдали не только от посторонних, но даже от собственных детей, отпраздновали торжество своего нового сближения.

Ночью с 7-го на 8-е июля, часу во втором, Герцен сидел на ступеньках Кариньянского дворца в Турине. Ночь была горячая, теплая, пропитанная запахом сирокко... Когда карета подъезжала к почтовому дому, Наталия Александровна заметила мужа: «Ты тут?» — сказала она, кланяясь в окно. Он отворил двери, и она бросилась ему на шею с такой восторженной радостью, с таким выражением любви и благодарности, что у него, говорит он, как молния, мелькнули в памяти слова из ее письма, писанного в январе 1850 г.: «Я возвращаюсь, как корабль, в родную гавань после бурь, кораблекрушений и несчастий сломанный, но спасенный».

Итак, то была, по-видимому, полная реставрация их любви и супружеских отношений. Но, как во всякой реставрации, в ней было что-то болезненное, судорожное, было насилие над недавним прошлым и отказ от будущего. Туринское свидание и обратное путешествие в Ниццу по Ривьере были последним светлым промежутком в их совместной жизни. Дальше удары посыпались без перерыва — до самого конца.

«Кто виноват?» — спросил сам Герцен в романе, специально посвященном проблеме супружеской измены. Итак, кто виноват в данном случае? Виноват не только в том, что Наталия Александровна вообще решила изменить мужу, но и в том, что вся история эта получила такой горький, отвратительный отпечаток. Гервег, конечно, в первую голову. Однако связать всю вину исключительно на одного Гервега не представляется возможным. Негодяи существовали всюду и во все времена. Но кто виноват, что данный негодяй успел затворить так много зла?

Мне кажется, что ответ на этот вопрос с очевидностью вытекает из всего сказанного: виноват сам Герцен. И не тем виноват, что изменил жене в Москве с ее собственной горничной и впоследствии так часто покидал ее в душевном одиночестве, и тем, что не умел, как должно, защищать свой внутренний мир от глубоких и тяжелых вторжений со стороны, не принимал, при своем общении с людьми, в расчет тех начал греха и порока, которые неискоренимо заложены в каждой, самой избранной и прекрасной человеческой натуре и которые могут быть обезврежены только известной дисциплиной, внешней узой, равно необходимой как в личной, так и в общественной жизни. Такова наша теперешняя, современная, освобожденная от красивых, но предательских утопичных точек зрения. В какой мере, однако, позволительно применять ее в данном случае?

Время было иное, и люди иные, не только по языку, манерам и костюму, но и по сокровенной, интимной настроенности своего существа. Их душевный организм был богаче и изощреннее нашего, но он не знал нашей нынешней брони, не был защищен тем твердым панцирем черепахи, без которого мы не смогли бы жить. Этим людям, как воздух, было нужно сочувствие, единомыслие не только в общих вопросах, но и в интимных мелочах. Они легче сходились и, так сказать, сливались психически и в этом находили блаженство, нам более недоступное. Зато они чаще нашего ранили себя и других и больше страдали.

Семья. — 1992. — 17-23 апрель (№1) — с. 12-13

